

An abstract painting with a complex, layered texture. The background is a mix of dark brown, olive green, and black, with fine, grid-like lines and splatters. In the lower-left quadrant, there is a prominent blue and black form that resembles a stylized face or a mask, with circular patterns and expressive brushstrokes. The overall composition is dense and textured.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

КОЛНЗЕЊ

Елена Крюкова Колизей

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22759638

ISBN 9785448368110

Аннотация

Три крупных поэтических цикла Елены Крюковой – «Москва кабацкая», «Ночной карнавал» и «Страсти по Магдалине» – объединены сквозной темой Колизея, вечного ристалища, вечной борьбы. Колизей – арена столицы, где люди бьются друг с другом за кусок хлеба; Колизей – эмигрантский Париж, где ты пляшешь перед жаждущей зрелищ толпой; Колизей – снова ночная Москва, где вечной Магдалине важно перевязать раненого, обогреть замерзшего, накормить голодного.

Содержание

Колизей	6
Спите, герои	8
Москва кабацкая	26
Подвал	27
Роды в кабаке	28
Последняя пляска	31
Давид и Саул	35
Любовь кабацкая	38
Японка в кабаке	41
Кармен забредает в кабак	44
Убийство в кабаке	47
«С клеенки лысой крохи стерли...»	49
Свадьба в кабаке	50
«Ах, девочка на рынке...»	53
Василий Блаженный	54
«Ты вскинул бокал темно-красного...»	57
Видение Исаяи о разрушении Вавилона	58
Adagio funebre	58
Andante amoroso	59
Allegro disperato	60
Largo. Pianissimo	63
Милостыня	66
Волковы бани	67

Блаженная и пьяный пророк	69
«По Радищевской улице...»	74
Девочка в кабаке на фоне восточного ковра	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Колизей

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-6811-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Колизей

Новая книга стихотворений Елены Крюковой «Колизей» – парадоксальная попытка соединить несоединимое. Так же, как музыка изобилует контрастами, поэзия Крюковой выстроена на невероятных сопоставлениях и смелых образных столкновениях.

В книге три крупных поэтических цикла.

«Москва Кабацкая» – многонаселенное стиховое пространство. Его лейтмотив – дерзко обозначенный в парадоксальном названии столичный кабаk, то роскошный, то бедняцкий, со всеми трагедиями и радостями, которыми он полнится во всей русской истории. Архетипы пьянки как священного безумия, водки как зелья, без которого невозможны пророчество и прощение, – основная нота композиции. Песенное и монументальное начала здесь сплетены, на выходе рождая новаторские масштабы и интонации.

В «Ночном карнавале» слышна иная музыка, красной нитью прошивающая всю ткань книги – ритмика всеобъемлющего, вселенского танца. Станцевать жизнь, станцевать судьбу и любовь не всякому по силам... Танец как мегаобраз современности – вот апология «Ночного карнавала», посвященного судьбам русских эмигрантов в Париже.

Эти мелодии плавно переходят в песни и монологи «Страстей по Магдалине» – из эмигрантского Парижа мы вновь

попадаем в темные трущобы громадной нынешней Столицы, на дне которой – ясные глаза и морщинистый лик старой женщины Марии, знающей цену жизни и раскинутым над каждым крыльям смерти.

Так архетипом Колизея объединено мировое ристалище. Колизей – стены столицы, где люди бьются друг с другом за кусок хлеба; Колизей – Париж, где ты ежедневно пляшешь перед жаждущей зрелищ толпой; Колизей – снова ночная Москва, в которой вечной Магдалине важно перевязать раненого, обогреть замерзшего, накормить голодного.

Спите, герои

Колизей – метафора многозначная.

Арена для борьбы, где воины не хотят умирать – и все-таки идут на смерть: туда их гонят.

Ристалище, где состязаются храбрец и хищник.

Открытое пространство, где гуляют ветра, свободно льется кровь и вольно, освобожденно орет толпа: «Умертви!» – или: «Пощади!» – в зависимости от своего настроения. И, конечно же, от настроения и каприза императора.

Жизнь и смерть, выдвинутые на всеобщее обозрение – что было интимным и тайным, внезапно и страшно обнажается, и люди получают возможность понять, за что они отдают жизнь и какие уродливые формы может принять гибель.

В Колизее принимали смерть не только бойцы-гладиаторы, но и простые люди, после мученической кончины ставшие навек – в истории религии и культуры – святыми.

Что же такое «Колизей» Елены Крюковой, книга из трех книг, где на наше обозрение выставлены начала бытия – с их традициями и ломкой этих традиций, с их онтологичностью и первозданностью, с их апологией повседневного мученичества, внезапно превращенного в вечную святость?

Настораживает название первого цикла: «Москва Кабацкая». И дело даже не в том, что тут же на ум приходит Сергей Есенин. При беглом взгляде на стихи сразу становится ясно – есенинских мотивов тут и в помине нет, а если они есть, это отнюдь не кабацкие драки и разудалые дебоши. «Москва Кабацкая» – книга, воспевающая низы общества: как сказано в кратенькой прозаической прелюдии, «Столичную Бедноту».

Оратория, кантата, опера нищих – вот как можно обозначить образность этой вещи; здесь все звучит и поет, плывет и плачет, орет и безумствует, пьяно шепчет и любовно молится – на фоне единственного мегаобраза – кабацкого зала с бутылками на столах. Это не воспевание и не оправдание пьянства, как может показаться. Здесь дело совсем в другом, и смыслы тут лежат гораздо глубже, чем кажется.

Один из излюбленных путей Крюковой как художника – путь вниз, к «малым сим», к нищим мира сего, к покинутым, к отверженным. К одному из своих романов, «Ярмарка», она прямо ставит посвящение: «*Отверженным моей Родины*». Вот «Москва Кабацкая» – это опера в стихах как раз об отверженных, о тех «маленьких людях», что рассеяны по страницам русской литературы и хорошо знакомы нам, и обращение к их жизням идет, конечно же, от времен Гоголя, До-

стоевского, Чехова, Горького.

Есенинский тут, пожалуй, только высокий, теноровой ноты, трагизм, и то, конечно же, он не калька с трагедии поэта двадцатых годов прошлого столетия – он вполне нынешний, и особенно явно просматривается в «Восьми ариях Марфы Посадницы»: здесь ассоциации с Чечней, Бесланом, Афганистаном, Украиной, здесь изначальная, врожденная каждому любовь к родине перебивается болью за нее и презрением к ней, убивающей и предающей своих детей:

*Ну, смотрите, несчастные люди,
Эта баба пьяна без вина
Я гадаю, что с Родиной будет.
Моя жизнь мне уже не нужна.
Оборот. Заскрипела планета.
Собутыльщик, расстрига-монах,
Знаешь лучше меня: Бога нету.
Да молитва Его – на губах.*

*Как земля наша плакала, пела.
Как расстреляна – молча – была.
Как ее необмытое тело
Разрезали на плахе стола.
Лжепророки в блистающем зале
Отрубали за кусом кусок
И багровые зубы казали,
И ко ртам прижимали платок...*

Вот острый глаз художника видит малорослую старуху-нищенку, что скитается по городу с сумой и собирает в нее огрызки и корки – и себе, и птицам на прокорм, – и внезапно эта маленькая старушечья фигурка вырастает в воображении автора до святой фигуры на стене храма – той святой, что одна на свете и любит ее, и прощает:

*Ты, нищенка, ты, знаменитая, – не лик, а сморщь
засохшей вишни, —*

*Одни глаза, как пули, вбитые небесным выстрелом
Всевишним:*

*Пронзительные, густо-синие, то бирюза, то
ледоходы, —*

*Старуха, царственно красивая последней, бедною
свободой, —*

*Учи, учи меня бесстрашию протягивать за хлебом руку;
Учи беспечью и безбрашию, – как вечную любить разлуку
С широким миром, полным ярости, алмазов льда, еды
на рынке,*

Когда тебе, беднячке, ягоды кидала тетка из корзинки...

Кабак постепенно становится некой Вселенной, в которой происходят все важнейшие для человека моменты жизни: роды и свадьбы, похороны и отпевания, любовные свидания и драматические разлуки. Здесь убивают из ревности, здесь любят – на разрыв аорты. Здесь пируют нищие, и вдруг стол в заштатной пельменной, за который бедняки уселись, становится пиршеством богов, и над головами нищих летят ан-

гелы: так сопрягается мир дольный и мир горный.

И эта кабацкая Вселенная живет по своим законам: тут бывший царь сидит у кабацкого крыльца и тянет за милостыней руку вместе с нищим, тут красавица-девочка, которую затащили в кабак – напоить ее и потешиться ею, – превращается в символ самой жизни, поруганной и бесконечно любимой:

*...В узорах пламенных – войной горит, дитя, твой трон
А после – в яме выгребной усмешкой рот сожжен.
Ухмылкой старой и чужой, – о, нищело!.. – моей:
Кривою, бедною душой последней из людей.
Ковер мерцает и горит, цветная пляшет шерсть.
Я плачу пред тобой навзрыд, затем, что есть ты,
есть —
Красивая девчонка, жизнь! Вся в перстнях пальцев
дрожь!
...ну поклянись. Ну побожись, что ты со мной уйдешь.*

Одно из самых сильных стихотворений этой книги – «Мать». Здесь Крюкова поднялась до высот, до которых, думаю, редко кто поднимался из современных, да и из прежних поэтов. В «Матери» звучат бетховенские ноты и видна пластика Микеланджело. Это неудивительно – Крюкова свободно пользуется в литературе приемами других искусств, и это только обогащает образную палитру.

*...И вот я, патлата, с дитем, опьяненным столицей,
В кабак, буерак, меж дворцов прибегаю – напиться.
Залить пустоту, что пылает, черна и горяча.
В широкие двери врываю угрюмую тучей.
На стол, весь заплеванный, мощный кулак водружаю.
Седая, живот мой огрузлый, – я Время рожаяю.
Дитя грудь пустую сосет. Пяткой бьет меня в ребра.
На рюмки, как будто на звезды, я щурюсь недобро.
За кучу бумажных ошметок мне горе приносят.
Огромная лампа горит, как на пытке, допросе.*

*О век мой, кровав. Воблой сгрызла тебя. Весь ты кончен.
Всю высосу кость и соленый хребет, ураганом источен.*

*И пью я и пью, пьет меня мой младенец покуда.
Я старая мать,
я в щеку себя бью, я не верую в чудо...*

Крюкова свободно пользуется избранной ею крупной формой, и, на мой взгляд, в «Москве Кабацкой» не одна кульминация, а две – два фрагмента книги можно считать центральными: это «Видение Исайи о разрушении Вавилона» (как обозначено самим автором, это «симфония в четырех частях») и большая фреска «Нищие». Здесь перед нами – образная система отнюдь не церковных росписей. Исайя и лирическая героиня, сидящие в кабаке за столом, – это всего лишь лысый старик и молодая девушка, что жадно слушает его пьяное бормотание. Водочная словесная вязь посте-

пенно становится пророчеством – и здесь Крюкова пользуется забытой, архаической лексикой, заставляющей вспомнить не только Державина, но и поэтов додержавинской поры:

*И, будь ты царь или кавсяк, зола иль маргарит —
Ты грабил?!.. – грабили тебя?!.. – пусть все в дыму сгорит.*

Кабаньи хари богачей. Опорки бедняка.

И будешь ты обарку жрать заместо каймака.

И будет из воды горох, дрожжа, ловить черпак. —

А Вавилон трещит по швам!.. Так радуйся, бедняк!..

Ты в нем по свалкам век шнырял. В авоськах – кости нес.

Под землю ты его нырял, слеп от огней и слез.

Платил ты судоргой телес за ржавой пицци шмат.

Язык молитвою небес пек Вавилонский мат.

Билет на зрелища – в зубах тащил и целовал.

На рынках Вавилонских ты соль, мыло продавал.

Наг золота не копил, так!.. Над бедностью твоей

Глумился подпитой дурак, в шелку, в венце, халдей.

Так радуйся! Ты гибнешь с ним. Жжет поросячий визг.

Упал он головою в кадь – видать, напился вдрызг.

А крюковские нищие – это и подлинные нищие «чадной столицы», и нищие ангелы с призрачными крыльями, и сама нищая героиня, которая если и может раздать милостыню, так только разломив себя самое на куски:

*Мир плевал в нас, блажных! Голодом морил!
Вот размах нам – ночных, беспобедных крыл.
Вот последнее нам счастье – пустой, грозный зал,
Где, прижавшись к голяку, все ему сказал;
Где, обнявши голытьбу, соль с-под век лия,
Ты благословишь судьбу, где твоя семья —*

*Эта девка с медным тазом, ряжена в мешок,
Этот старик с кривым глазом, с башикою как стог,
Эта страшная старуха, что сушеный гриб,
Этот голый пацаненок, чей – тюремный всхлип;
Этот, весь в веригах накрест, от мороза синь,
То ли вор в законе, выкрест, то ль – у церкви стынь,
Эта мать – в тряпье завернут неисходный крик! —
Ее руки – птичьи лапки, ее волчий лик;
Эта нищая на рынке, коей я даю
В ту, с ошурками, корзинку, деньгу – жизнь мою;
И рубаки, и гуляки, трутни всех трущоб,
Чьи тела положат в раки, чей святится лоб, —
Вся отреплая армада, весь голодный мир,
Что из горла выпил яду, что прожжжен до дыр, —
И любить с великой силой будешь, сор и жмых,
Только нищих – до могилы, ибо Царство – их.*

Вот оно! Слово сказано. «Царство – их»: это же прямой парафраз евангельского «...ибо их есть Царствие Небесное». Все оправдано и освящено – значит, и нечего уже бояться. Все на свете повторяется, повторится и эта ночь, и этот ка-

бак, и эти бедняки, что едят дешевые пельмени и пьют дешевую дармовую (кто-то их угощает...) водку, и эти внимательные женские глаза, то полные слез, то сияющие чистой радостью, наблюдающие нищую жизнь – самую богатую, самую священную на земле, как выясняется из контекста стиха.

Апология всеобщего оправдания, щедрого прощения напрямую звучит в одном из финальных стихов – «Всепрощении». Здесь душа, уже вышедшая из тела (смерть уже произошла...), вольно летает над кабацкими гуляками, над злыми людьми, кто при жизни терзал и обижал героиню, и над людьми добрыми, – и тех и других эта исшедшая из тела душа любит одинаково:

*Сыплюсь черным снегом вниз! Языком горячим
Всю лижусь живую жизнь в конуре собачьей!
Всех целую с вышины! Ветром обнимаю!
Всех – от мира до войны – кровью укрываю...
Прибывали ко Кресту?!.. Снег кропили алым?!..
Всех до горла замету смертным одеялом. <...>
И, кругом покуда смех, чад и грех вонючий, —
Плача, я прощаю всех, кто меня замучил.*

Так исполняется христианский завет, и потому «Москва Кабацкая» – гораздо более христианская книга, чем кажется на первый взгляд. Этот текст – не о попойках, а о понимании и прощении; не о пьяной ненависти, а о великой любви. Героиня, пляшущая вместе с цыганами на Арбате и гу-

ляющая вместе с ними, под рокоты их гитар, опять в кабаке (здесь вспоминаются дореволюционные «Ярь» и «Стрельна», а впрочем, узнаваемо изображен любой современный кабак «московского разлива»...), сама выкрикивает это признание – в пылу пляски, под цыганскую рвущую сердце песню:

Нет креста ветров

Нет вериг дорог.

Только эта пляска есть – во хмелю!

Только с плеч сугробных – весь в розанах – платок:

Больше смерти я жизнь люблю.

Ты разбей бокал на счастье – да об лед!

Об холодный мрамор – бей!

Все равно никто на свете не умрет

Распоследний из людей.

А куда все уйдут?!.. – в нашей пляски хлест!

В нашей битой гитары дрызнь!

Умирать буду – юбка – смерчем – до звезд. Больше жизни люблю я

жизнь.

* * *

И эта кабацкая пляска служит естественной лигой, связ-

кой для перехода к другому, но тоже открытому «колизейному» пространству – атмосфере «Ночного карнавала», где властвует стихия танца, и он тоже, как и Вселенский Кабак в «Москве Кабацкой», всемогущ и тотален. Этот тотальный танец – мегаметафора первой русской эмиграции в Париже.

Эмиграция – тема, давно волнующая Крюкову-автора. Из каких забытых мемуаров всплыли герои «Ночного карнавала» – красавица Мадлен, по происхождению русская, и великий князь Владимир? Мадлен – Магдалина, значит грешница, ставшая прославленной в Евангелиях святой: символика чересчур прозрачна, она как на ладони. Князь Владимир, «владеющий миром», носит имя одного из первых русских князей – и на том спасибо: цепь исторических ассоциаций благополучно собрана.

И начинается танец – он звучит почти в каждом стихотворении этой французской фантазии. Танец – сон о России, танец в кафе (Крюкова иной раз пишет по старинке – «кафэ»), танец в борделе, танец-отчаяние, танец – любовь... Как удалось автору выстроить все здание этой любовной, по сути, книги на танце – Бог весть; однако наиболее сильными «танцами» здесь я считаю «Бал в Царском дворце» (тут через танец невероятно, почти как в кино, с наложением кадров, показана величайшая трагедия России XX века – революция, красный террор, гибель Царской Семьи) и «Последний танец над мертвым веком», где герои-возлюбленные, кружась в гигантской широты вальсе, танцуют, вихрем несутся над всем

пережитым – не только ими, но и всеми русскими людьми:

*Мы танцуем над веком,
где было все —
от Распятья и впрямь,
и наоборот,
где катилось железное колесо
по костям – по грудям – по глазам – вперед.
Где сердца лишь кричали:
«Боже, храни
Ты Царя!..» – а глотки:
«Да здравст-вует
Комиссар!..» – где жгли животы огни,
где огни плевали смертям вослед.
О, чудовищный танец!.. – вихрь, кружись.
Унесемся далеко.
В поля. В снега.
Вот она какая жалкая, жизнь:
малой птахой – в Твоем кулаке – рука —
воробьенком, голубкой... —
голубка, да.
Пролетела над веком —
в синь-небесах!.. —
пока хрусь – под чугун-сапогом – слюда
наста-грязи-льда —
как стекло в часах...
Мы танцуем, любовь!.. – а железный бал
сколько тел-литавр,
сколько скрипок-дыб,*

*сколько лбов, о землю, молясь, избивал
барабанами кож,
ударял под дых!
Нету времени гаже.
Жесточе – нет.
Так зачем ЭТА МУЗЫКА так хороша?!
Я танцую с Тобой – на весь горький свет,
и горит лицо, и поет душа!*

Иной раз танец тут становится инструментом провидения, предсказания, предчувствия: он перестает быть «танцевальной метафорой» и превращается в историческое пространство, которое бесконечно кружится, летит, колышется и движется, в сам земной воздух, окутывающий многострадальную, покинутую страну:

*Везде!.. – в дыму, на поле боя
В изгнании, вопя и воя,
На всей земле, по всей земле —
Лишь вечный танец – топни пяткой —
Коленцем, журавлем, вприсядку,
Среди стаканов, под трехрядку,
Под звон посуды на столе —
Вскочи на стол!.. – и, среди кружеск
Среди фарфоровых подружек
И вилок с лезвием зубов —
Танцуй, народ, каблук о скатерть
Спаситель сам и Богоматерь,*

*Сама себе – одна любовь.
И рухнет стол под сапогами!
Топчи и бей! Круши ногами!
...Потом ты срубилась все сполна —
Столешиницу и клеть древяню,
И ту часовню Иоанна,
Что пляшет в небесах,
одна.*

* * *

И, наконец, «Страсти по Магдалине». Евангельский колорит названия уже не способен обмануть читателя. Мы знаем, что встретимся здесь не со спокойной мудростью, а с напряженным действием, и внешним, и душевным, – и не ошибемся.

Крюкова здесь работает уже не как режиссер, не как музыкант, не как фресковик-монументалист – она пишет картины «Страстей по Магдалине» как простой художник. Эта станковая живопись, с виду непритязательная, все равно часто вырывается за камерные рамки и опять претендует на масштабность.

Но, конечно, эта вещь гораздо более лирическая, чем две предыдущие. На арене Колизея – Магдалина, только не первая христианка, а последняя: ее зовут Мария, она наша современница, живет в Столице (опять очень узнаваема

Москва), занимается странными делами – что тебе блаженная: встречает незнакомцев, приводит к себе домой, кормит и поит, а то и укладывает с собой спать. Такая вот и страшная, и смешная идиллия.

Вроде бы смешная. И – по-настоящему страшная. А внутри этого реального страха кроется таинственный свет – он-то и спасает всю стихотворную ткань этой композиции, где отдельные стихи – и события (мизансцены), и песни (весь «звукоряд» идет от лица Марии-Магдалины), и чистая лирика, когда автор свободно превращается в свою натуру, меняется с ней местами.

Фабула тут тоже вроде бы несложная – вот портрет стареющей судомойки, вот она вспоминает свою жизнь и прежних любимых, вот она кипятит чайник для новых гостей, вот она идет по Москве и поет частушки – и вот он, наш родной русский Колизей, вот арена огромного города, и жестокого и праздничного, где отдельно взятая жизнь не стоит ничего, зато все жизни, что она притягивает к себе, как магнитом, стоят целого мира, и каждая есть Бог:

Голь ты перекатная, лебедь сизокрылая!

Ты, Москва стовратная – мордами да рылами...

Ты – мехами бурьми. Ты – шерстями вьючными

Ты – бровями хмурыми, скулами разлучными...

Ох, толпа ненастная! Шапкины зальсины...

Где – лицо прекрасное: в мордах волчьих, лисьих ли?!

Неостановимая кипень многоглазая...

*Где – лицо, любимое душиной да свяжою?!
Я к тебе приращена снежной пуповиной —
Время наше страшное, неостановимое!*

Мария живет в Подвале; к ней заявляется подруга Марго и поет свою песню (и это откровенная песня «ночной бабочки», шалавы); наглая и веселая Марго не понимает Марию и ее умалишенного христианства – без церкви и молитвы, а только с ежедневной помощью несчастным ближним; и старая Мария, в одном из стихов, вдруг становится не морщинистой судомойкой («*Руки в трещинах соды. / Шея – в бусах потерь...*»), а торжествующей вечной женщиной, в славе и силе – почти царицей, почти Орантой:

*Ну что ж! Я вся распахнута тебе
Судьбина, где вокзальный запах чуден,
Где синий лютый холод, а в тепле —
Соль анекдотов, кумачовых буден...
Где все спешим – о, только бы дождать,
До финишной прямой – о, дотянуть бы!.. —
И где детишек недосуг рожать
Девчонкам, чьи – поруганные судьбы...
И я вот так поругана была.
На топчане распята. В морду бита.
А все ж – размах орлиного крыла
Меж рук, вздетых прямо от корыта.
Мне – думу думать?! Думайте, мужи,
Как мир спасти! Ведь дума – ваше дело!*

*А ты – в тисках мне сердце не держи.
А ты – пусти на волю пламя тела.
И, лавой золотою над столом
Лиясь – очьми, плечами, волосами,
Иду своей тоскою – напролом,
Горя зубами, брызгая слезами!*

Что ждет такого необычного человека внутри нынешнего каменного муравейника-мегаполиса, на арене современного Колизея? Крюкова впрямую не говорит, что – гибель или забвение. Наоборот: финал «Страстей по Магдалине» радостно и торжественно открыт, каждый волен сам додумать, что произойдет с бедной полоумной судомойкой, когда-то – хорошенькой девчонкой нарасхват, нынче – седой сивиллой, знающей все или почти все об общей людской судьбе:

*Славься, девчонка, по веки веков!
В бане – косичку свою заплети...
Время – тяжеле кандалных оков.
Не устоишь у Него на пути.
Запросто – дунет да плюнет – сметет,
Вытрясет из закромов, как зерно...
Так, как пощады не знает народ,
Так же – пощады не знает Оно.
Славься же, баба, пока не стара!
Щеки пока зацелованы всласть!..
Счастьем лика и воплем нутра —
Вот она, вечная женская страсть.*

*Но и к пустым подойдя зеркалам,
Видя морщины – подобием стрел,
Вспомнишь: нагою входила во храм,
Чтобы Господь Свою дочку узрел...*

* * *

Итак, мы покидаем Колизей.

На его арене пили и гуляли. Плакали и обнимались. Стреляли и танцевали.

Сгорали на крестах. Погибали, растерзанные хищной железной войной.

Оживали и тянули руки и публике – к живым людям: спасите!

Но представление закончилось. Гасят свечи и факелы. Гасят лампы и лампы.

Ворошат дрова в печи. Выключают плиту с кипящим на огне чайником.

Настало время отдыха. Завтра будет новое ристалище. Новый бой.

А пока – спите, герои.

Анастасия ПОМЕРАНСКАЯ

Москва кабацкая

Дворницкие, застольные, любовные, свадебные, военные, крестильные, похоронные песни Столичной Бедноты, а также фрески и иные росписи дешевых столичных кабаков, кафэ и пельменных; а также веселые лубочные картинки, где хорошая пьянка смело изображается; а также Симфония в четырех частях о лысом Пророке Исаии и Восемь Арий Марфы Посадницы из ненаписанной оперы «Царство Зимы»

Подвал

*Ярко-желтый стол под фонарем,
Как желток цыплячий.
Желтая в нас кровь. И мы умрем
Смертию курячьей.*

*Пусть железный позвонок хрустит.
Время перебито.
Люстра над столом, гремя, висит.
Кажет стол копыто.*

*На пустынном, выжженном столе —
Помидор да зелье.
Поживу еще я на земле.
Пошщу веселья.*

*Опрокину в пасть еще одну
Стопку... или брашно...
А снаружи, на морозе, в вышину
Не гляжу: мне страшно.*

Роды в кабаке

Таскала я брюхо в тоске. Глодала небесную синь.
Рожаю дитя в кабаке – лоскутная рвется сарынь.

Подперло. Стакан из руки упал, как знаменье, звеня —
И – вдребезги... Стынут зрачки. Боль прет в белый свет
из меня!

Кто в мир сей дерется, блажит?!.. Меня раздирает
копьем?!..

Одну прожигала я жизнь. Теперь будем гибнуть вдвоем.

И эх!.. – я его прижила от черного зимнего дня,
Когда звезды Марса игла морозом входила в меня.

На панцирной сетке... – в дыму сожженного чайника
медь!.. —

Всем чревом напомяну – суму. Всей жизнью наполню я –
смерть.

И там, на матрасе, где свил гнездо царь мышиный иль
крот,

Всей дрожью веревочных жил скрутась! – зачинала
народ.

Той лысой макушки, как лук прорезывающей

волосок... —

Глядите, пьянчуги, в мрак мук, тараштесь, пичуги,
в ночь ног!

Бутылей разбитых гранат. Картошка изжарена в хруст.
Я гнусь и вперед и назад. Живот мой – пылающий куст.

Живот мой – кадушка, где плеск грядущих, пьянящих
кровей.

Белков моих яростный блеск. И сдавленный крик
журавлей.

И так, меж упавших скамей, ворочаясь льдиной, хрипя,
В поту, как в короне царей, я страшно рожаю Тебя —

Последний, сверкающий Бог, весь голый, кровавый
червяк, —

И вот Ты сияешь меж ног, и вот разжимаешь кулак!

И вот нож кухонный несут, чтоб срезать родильный
канат.

И вот на живот мне кладут алмаз в сто багряных карат.

И здесь, где кабацкая голь гитару, как шкуру, порвет, —
Я нянчу Тебя, моя боль, целую Тебя, мой народ!

Целую Тебя и люблю, – и, чуя могильную тьму,
Тебя бедной грудью кормлю! И выкормлю! И подниму!

И, средь звона стопок, среди
Тряпья испоганенных шлюх,
Прижму я Тебя ко груди,
Мой голый, сияющий Дух.

Последняя пляска

Господи, какая ночь!.. Костры заполошные!..
Кости будем мы толочь,
Крошить мяса крошево.
Рыбами – тела обочь
Возлежат вповалку...
Господи – такая ночь! – умереть не жалко!

Грязь глыбаста гульбища,
свечками – сугробы:
Пляшет во тьме идолище,
у разверста гроба.
Эта пляска – в простыне! Это я – босая —
На снегу пляшу в огне, я лимон кусаю!

Эх, кисло-свело
деревянны скулы...
Все во мне – померло.
Лютым ветром сдуло.

Резко клацнет затвор.
Шутки шутовали?!..
Заливайся, дикий хор!
Мало – диковали!

Мало с тулов – голов!

Мало лезвий точат!
Эх, а «...Бог есть любовь» —
что немой бормочет?!

Вот он, площади круг!
По кругу – огнища.
Мечутся огни рук.
Крылья шубы нищей.

Мало в звон – в прах – драк?!
Мало – костоломных?!
Вою – громче собак,
острожных, огромных!

Вот и выплясан век
до конца, досуха.
Вот он весь, человек —
на снегу старуха

Пляшет, пьяная в дым, —
это я, солдаты!
Дух мой Богом храним!
Это ж я, ребята!

Это я – пить... кормить...
вата... перевязки...
Я!.. – во рву псов – любить —
до последней ласки...

Я!.. – дышать – вам – рот в рот...
дрождью в дрожь – распята...
Я, мой нищий народ, —
не узнал, ребята?!..

Вас рожала... – меж глаз —
пот и свет – заплаткой...
Эх, пляшу – еще раз! —
перед последней схваткой!..

Гей, ударьте, ветра!
Вытанцуй, могила,
Всех, в ком пулей – дыра,
в ком – горелось-било!

Руки выброшу вам —
хлебом – вон из тела:
Жуйте! – глоткам и ртам —
крошевом летела!

И, покуда мой мир
голодал в канаве, —
Станцевала до дыр
пятки в вечной славе!

Не стреляй...
не стреляй...
Не стреляйте, братцы!..
Гибнет площадь – наш Рай.

Не запишут в Святцы.

Лишь катится лимон
по снегу в траншею.
Лишь огнем опален
крест на мертвой шее.

Ну-ка музыка, брызнь
среди костров горячих!
Вся ты, нищая жизнь, —
в судорге падучей.

Вся ты – боль да курок,
ветер с духом гари!..

...тебя Бог не сберег —
С босыми ногами.

Давид и Саул

Ты послушай меня, старик,
в дымном рубище пьяный царь.
Ты послушай мой дикий крик.
Не по нраву – меня ударь.
Вот ты царствовал все века,
ах, на блюде несли сапфир...
Вот – клешней сведена рука.
И атлас протерся до дыр.
Прогремела жизнь колесом
колесницы, тачки, возка...
Просверкал рубиновый ком
на запястье и у виска.
Просвистели вьюги ночей,
отзвонили колокола...
Что, мой царь, да с твоих плечей —
жизнь, как мантия, вся – стекла?!..
Вся – истлела... ветер прожег...
Да босые пятки цариц...
Вот стакан тебе, вот глоток.
Вот – слеза в морозе ресниц.

Пей ты, царь мой несчастный, пей!
Водкой – в глотке – жизнь обожгла.
Вот ты – нищий – среди людей.
И до дна стгорела, дотла

шуба царская, та доха, вся расшитая мизгирем...
Завернись в собачьи меха.
Выпей. Завтра с тобой помрем.
А сегодня напьемся мы,
помянем хоромную хмарь.
Мономахову шапку тьмы
ты напяль по-на брови, царь.
Выйдем в сутолочь из чепка.
Святой Боже, – огни, огни...
Камня стон. Скелета рука.
Царь, зипунчик свой распахни
да навстречу – мордам, мехам,
толстым рылам – в бисере – жир...
Царь, гляди, я песню – продам.
Мой атлас протерся до дыр.

Царь, гляди, – я шапку кладу,
будто голову, что срубил,
в ноги, в снег!.. – и не грош – звезду
мне швырнет, кто меня любил.
Буду горло гордое драть.
На морозе – пьянее крик!..
Будут деньги в шапку кидать.
На стопарь соберем, старик.
Эх, не плачь, – стынет слез алмаз
на чугунном колотуне!..
Я спою еще много раз
о твоей короне в огне.
О сверкании царских риз,

о наложницах – без числа...
Ты от ветра, дед, запахнись.
Жизнь ладьей в метель уплыла.

И кто нищ теперь, кто богат —
все в ушанку мне грош – кидай!..
Пьяный царь мой, Господень сад.
Завьюжённый по горло Рай.

Любовь кабацкая

Эх, горят неоны алой кровью.
Выпила я грех из черной кружки
Города, как молоко коровье,
И упала головой в подушки.

Ужасом содвинулись громады,
Окна – что из черепов – глазницы...
Можно в ледяном колодце Ада
Зачерпнуть воды – и в смерть напиться.

Каблуки напяливают бабы.
Кабак для них до дна раскрыты.
Пить вино Христос велел не слабым:
Только сильным, только не убитым.

Я – живая?!.. – Сохлый лист, мертвячка,
Юбки все протыканы иглою.
Я наперсток медный, я босячка,
Я прикинусь нынче молодой.

Пьяною прикинусь и красивой,
Нож покажут мне – сорву сережки:
Подавься!.. И я была счастливой.
И показывал мне месяц рожки.

И в крошку – мало – искрошили.
Из горла всю высосали: ртутью.

...слышите, меня!.. – меня любили...
...задушу окурков левой грудью.

Животом – на стол. И ребра-прутья
Обожжет расплесканная водка.
На безлюбы. На таком безлюдьи.
Нежно так любили.
Тайно.
Кротко.

И монетой тою же платила.
Из карманов рваных вынимала.
Пьянь, и рвань, и дрянь, – я их любила.
Жалко, плохо их любила. Мало.

И горит отчаянная люстра,
Сыплет снег на плечи, косы, спину:
Я люблю вас. Я люблю вас, люди.
Люди, никогда вас не покину.

И когда поволокут мне тело
Пьяное – из кабака – к могиле,
Прохриплю: я так любить хотела.
И любила. И меня любили.

По щекам, по крепким скулам били.

Пяткою – в живот. Подошвой – выю.
Им казалось: ненавидели!.. – любили.

...выпьем за любовь. Пока живые.

Японка в кабаке

Ах, мадам Канда,
с такими руками —
Крабов терзать
да бросаться клешнями...

Ах, мадам Канда,
с такими губами —
Ложкой – икру,
заедая грибами...

Ах, мадам Канда!..
С такими – ногами —
На площадях – в дикой неге —
нагими...

Чадно сиянье
роскошной столицы.
Вы – статуэтка.
Вам надо разбиться.

Об пол – фарфоровый
хрустнет скелетик...
Нас – расстреляли.
Мы – мертвые дети.

Мы – старики.
Наше Время – обмылок.
Хлеба просили!
Нам – камнем – в затылок.

Ты, мадам Канда, —
что пялишь глазенки?!..
Зубы об ложку
клацают звонко.

Ешь наших раков,
баранов и крабов.
Ешь же, глотай,
иноземная баба.

Что в наших песнях
прослышишь, чужачка?!..
Жмешься, дрожишь косоглазо, собачка?!..

...милая девочка.
Чтоб нас. Прости мне.
Пьяная дура. На шубку. Простынешь.

В шубке пойдешь
пьяной тьмою ночью.
Снегом закроешь,
как простынею,

Срам свой японский, —

что, жемчуг, пророчишь?!
Может быть, замуж
за русского хочешь?!..

Ах ты, богачка, —
езжай, живи.
Тебе не вынести
нашей любви.

Врозь – эти козьи —
груди-соски...
Ах, мадам Канда, —
ваш перстень с руки...

Он укатился под пьяный стол.
Нежный мальчик
Его нашел.

Зажал в кулаке.
Поглядел вперед.

Блаженный нищий духом народ.

Кармен забредает в кабак

Спирали синие, и вихри белых слез,
И кольца снега вдеты в мочки... —
В распахнутую дверь ворвись, мороз,
И ты, безумной крови дочка!

От зимки злые юбки отряхни,
Кроваво-красные отливы, —
И в зал влети, где гроздьями – огни,
Где лишь пирушкой люди живы...

Твое лицо – секира: режет тьму!
Процокай, задыхаясь, к стойке,
Монету кинь... Воззри на кутерьму,
На бивуачный дым попойки...

Никто же не узнал тебя, никто!
Ни черного костра волос. Ни раны
Меж ребер, под измызганным пальто,
Где дышат ветры и бураны...

Красавица, любовница Кармен!
Ты не нужна голодной гили.
Ты съешь и выпьешь – а возьмут взамен
Все, чем от века люди жили.

Тебя они до косточки сгрызут.
Все обсосут, причмокнув, крылья.
Скелет – поволокут на Страшный Суд,
Сопя, потея от бессилья.

Свободу и любовь сожгут дотла.
На мощь, на Красоту тарачат зенки.
Тебя на утлом краешке стола
Заставят танцевать твое фламенко.

И будешь каблуком ты в доски бить.
Попадают все рюмки с красным.
И будешь сытых индюков любить
И битых селезней несчастных.

И будешь ты не яркая Кармен,
А просто девка из трактира:
Ну, лишку выпила, ну, не встает с колен,
И ни гроша не заплатила

За грозную и страшную жратву,
Питье – серебряной рекою...

...еще танцую, пью, дышу, живу,
От смерти смуглой заслонясь рукою.

Ах, душу рви! Ах, вой, гитара, пой!
Сорви все струны в гордом крике!
Ах, висельник, останись здесь, с тобой,

Мой мир, солдат, палач, пацан, владыка.

И мне осталась только эта страсть:

Покуда лезвие мне под ребро не всадят —

Убить. Любить. Успеть. Урвать. Украсть —

С цыганской кровью черт не сладит!.. —

Зацеловать, затискать этот мир,

Пропитый в закоулках окаянных:

Потертый и прожженный весь, до дыр,

Любовный, бедный, яростный, – желанный.

Убийство в кабаке

Ах, все пели и гуляли. Пили и гуляли.
На лоскутном одеяле скатерти – стояли
Рюмки с красным, рюмки с белым,
черным и зеленым...
И глядел мужик в просторы глазом запаленным.
Рядом с ним сидела баба. Курочка, не ряба.
На колени положила руки, костью слабы.
Руки тонкие такие – крылышки цыплячьи...
А гулянка пела – сила!.. – голосом собачьим...
Пела посвистом и воем, щелком соловьиным...
Нож мужик схватил угрюмый —
да подруге – в спину!
Ах, под левую лопатку, там, где жизни жила...
Побледнела, захрипела: – Я тебя... любила...

Вдарьте, старые гитары! Мир, глухой, послушай,
Как во теле человечьем убивают душу!
Пойте, гости, надрывая вянущие глотки!
Закусите ржавость водки – золотом селедки!
Нацепите вы на шеи ожерелья дыма!..
Наклонись, мужик, над милой,
над своей любимой...
Видишь, как дымок дымится —
свежий пар – над раной...
Ты сгубил ее не поздно. Может, слишком рано.

Ты убил ее любовью. Бог с тобой не сладит.
Тебя к Божью изголовью – во тюрьму – посадят.
Я все видела, бедняга... На запястьях – жилы...
Ты прости, мой бедолага, – песню я сложила.
Все схватила глазом цепким, что ножа острее:
Рюмку, бахрому скатерки, выгиб нежной шеи...
Рыбью чешую сережек... золото цепочки...
Платье, вышитое книзу
крови жадной строчкой...
Руки-корни, что сцепили смерти рукоятку...
На губах моих я помню вкус кроваво-сладкий...

Пойте, пейте сладко, гости!
Под горячей кожей —
О, всего лишь жилы, кости, хрупкие до дрожи...
Где же ты, душа, ночуешь?!Где гнездишься, птица?!Если кровью – захлебнуться...
Если вдрызг – разбиться...
Где же души всех убитых?!Всех живых, живущих?!..
Где же души всех забытых?!..
В нежных, Райских кущах?!..
Об одном теперь мечтаю: если не загину —
Ты убей меня, мой Боже, так же —
ножом в спину.

«С клеенки лысой крохи стерли...»

*С клеенки лысой крохи стерли.
Поставили, чем сбрызнуть горло.
Вот муравейник, дом людской:
Плита и мышка под доской.
Виньетки вьюжные, надгробные.
Кухонный стол – что Место Лобное:
Кто выпьет тут – сейчас казнят.
Кто выйдет – не придет назад.
Вы, дворники, мои ребята.
Истопники, мои солдаты.
Пила я с вами до заката.
Я с вами ночку пропила.
Лазурью глотку залила.
Спалила ртутью потроха!
Я сулемой сожгла – дыха...
Цианистый я калий – ем!
Рассвет. Лопаты и меха.
Рассвет. А ну его совсем.*

Свадьба в кабаке

Я на свадьбе гуляю нынче —
на чужой, ох, не на своей!
И сверкает жемчужная низка
у меня меж шальных грудей.

Груди белые все в морщинах.
Не сочту я злобных морщин.
Вся шаталась, как в бусах, в мужчинах!..
Вот и нету со мной мужчин.

Эта жизнь, как голодная крыса,
то укусит, то юркнет в щель...
Уходящую – надобно сбрызнуть.
Пусть ударит в голову хмель.

Как лелеяли, как ласкали!..
Вместо рук – гудит пустота.
Меж серебряными висками
смерть мою целую в уста.

Как невеста красива, Боже.
Как сияет белая ткань.
Как она на меня похожа.
Эта нищенка, эта дрянь.

Те же серьги до плеч – для соблазна.
Тот же алый рот – для греха.
И такую же зверью несчастной
смотрит ввысь головы жениха.

Жизнь – крутая, святая сила.
Для любви раздвинь ложесна.
А потом распахнет могилу
для тебя только Смерть одна.

И забьешься в крик, разрывая
кружевную, до пят, фату:
Я живая! Бог, я живая!..
Не хочу идти в пустоту!..

Жить хочу!..
...В головах постлать бы
этой девочке – поле, снег.
Все гремит последняя свадьба.
На подносах уносят век.

И я, вусмерть пьяная, плачу,
оттого, как свет этот груб,
и в ладонях моих горячих —
лик, целованный сотней губ;

и я рюмку себе наливаю
да под самое горло огня:
Господи, пока я живая,

выдай Ты за Себя меня.

«Ах, девочка на рынке...»

*Ах, девочка на рынке,
В кулаке – гранат!
Давай гулять в обнимку.
Пусть лешаки глядят.*

*Плечи в меня глазами —
В них черное вино.
Дай мне пронзить зубами
Кровавое зерно.*

*А зерна снега валят,
Крупитчатые, крупны...
Твой рот
твой плод захвалит!*

Раскупят! О, должны!..

*И деньги искрят, льются
В смуглявину руки —
За счастье жизни куцей,
За сладкий сок тоски.*

Василий Блаженный

Напиться бы, ах, напиться бы,
напиться бы – из горсти...
В отрепьях иду столицею.
Устала митру нести.
Задохлась!.. – лимон с клубникою?!.. —
железо, ржу, чугуны —
тащить поклажей великою
на бешеной пляске спины.
Я выкряхтела роженочка —
снежок, слежал и кровав.
Я вынянчила ребеночка —
седую славу из слав.
Какие все нынче бедные!
Все крючат пальцы: подай!..
Все небо залижут бельмами!.. —
но всех не пропустят в Рай.

А я?.. Наливаю силою
кандалный, каленый взгляд.
Как бы над моей могилою, в выси купола горят.
Нет!.. – головы это! Яблоки!
Вот дыня!.. А вот – лимон!..
Горят последнею яростью
всех свадеб и похорон.
Пылают, вещие головы,

власы – серебро да медь,
чернеющие – от голода,
глядящие – прямо в смерть!
Шальные башки вы русские, —
зачем да на вас – тюрбан?!..
Зачем глаза, яшмы узкие,
подбил мороз-хулиган?!..
Вы срублены иль не срублены?!..

...Ох, Васька Блаженный, – ты?!..
Все умерли. Все отлюблены.
Все спать легли под кресты.
А ты, мой Блаженный Васенька —
босой – вдоль черных могил!
Меня целовал! Мне варежки
поярковые подарил!
Бежишь голяком!.. – над воблою
смоленых ребер – креста
наживка, блесна!.. Надолго ли
крестом я в тебя влита?!
Сорви меня, сумасшедшенький!
Плюнь! Кинь во грязь! Растопчи!
Узрят Второе Пришествие,
кто с нами горел в ночи.
Кто с нами беззубо скалился.
Катился бревном во рвы.
Кто распял. И кто – распялился
в безумии синева.

А ты всех любил неистово.
Молился за стыд и срам.
Ступни в снегу твои выстыли.
Я грошик тебе подам.
Тугую, рыбой блеснувшую
последнюю из монет.
Бутыль, на груди уснувшую:
там водки в помине нет.
Там горло все пересохшее.
Безлюбье и нищета.
Лишь капля, на дне усопшая, —
безвидна тьма и пуста.
А день такой синеглазенький!
У ног твоих, Васька, грязь!
Дай, выпьем еще по разику —
смеясь, крестясь, матерясь —
еще один шкалик синего,
презревшего торжество,
великого,
злого,
сильного
безумия
твоего.

«Ты вскинул бокал темно-красного...»

*Ты вскинул бокал темно-красного,
Прищурясь, насмешкой сжег:
– За очи твои прекрасные!
За твой золотой зубок!.. —
Поджаренная, готовая,
Пласталась, – жратвы удел!..*

*Да ты через кровь Христовую
В упор на меня глядел.*

Видение Исайи о разрушении Вавилона

симфония в четырех частях

Adagio funebre

Доски плохо струганы. Столешница пуста.
Лишь бутылъ – в виде купола.
Две селедки – в виде креста.
Глаза рыбы – грязные рубины.
Они давно мертвы.
Сидит пьяный за столом. Не вздернет головы.

Сидит старик за столом. Космы – белый мед —
Льются с медной лысины за шиворот и в рот.

Эй, Исайка, что ль, оглох?!.. Усом не повел.
Локти булыжные взгромоздил, бухнул об стол.

Что сюда повадился?.. Водка дешева?!..
Выверни карманишки – вместо серебра —

Рыболовные крючки, блесна, лески... эх!..
Твоя рыбка уплыла в позабытый смех...

Чьи ты проживаешь тут денежки, дедок?..
Ночь на денет на голову вороной мешок...

Подавальщица грядет. С подноса – гора:
Рыбьим серебром – бутылки: не выпить до утра!..

Отошли ее, старик, волею своей.
Ты один сидеть привык. Навроде царей.

Бормочи себе под нос. Рюмку – в кулак – лови.
Солоней селедки – слез нету у любви.

.....

Andante amoroso

А ты разве пьяный?!.. А ты разве грязный?!.. Исаия –
ты!..

На плечах – дорогой изарбат...

И на правом твоём кулаке —

птица ибис чудной красоты,

И на левом – зимородковы крылья горят.

В кабаке родился, в вине крестился?!..

То наглец изблюет,

Изглумится над чистым тобой...

Там, под обмазанной сажей Луной,

в пустынном просторе,

горит твой родимый народ,
и звезда пророчья горит над заячьей, воздетою твоею
губой!
Напророч, что там будет!.. Встань – набосо и наголо.
Руку выбрось – на мах скакуна.
Обесплотятся все. Тяжко жить. Умирать тяжело.
Вся в кунжутном поту, бугрится спина.
Ах, Исая, жестокие, бронзой, очи твои —
Зрак обезьяны, высверк кошки, зверя когтистого
взгляд... —
На тюфяках хотим познать силу Божьей любви?!.. —
Кричи мне, что видишь. Пей из белой бутылки яд.
Пихай в рот селедку. Ее батюшка – Левиафан.
Рви руками на части жареного каплуна.
И здесь, в кабаке кургузом, покуда пребудешь пьян,
Возлюблю твой парчовый, златом прошитый бред, —
дура, лишь я одна.

.....

Allegro disperato

Зима возденет свой живот и Ужас породит.
И выбьет Ужас иней искр из-под стальных копыт.
И выпьет извинь кабалы всяк, женщиной рожден.
Какая пьяная метель, мой друже Вавилон.
Горит тоскливый каганец лавчонки. В ней – меха,

В ней – ожерелья продавец трясет:

«Для Жениха

Небеснаго – купи за грош!..» А лепень – щеки жжет,
Восточной сладостью с небес, забьет лукумом рот.

Последний Вавилонский снег. Провижу я – гляди —
Как друг у друга чернь рванет сорочки на груди.

С макушек сдернут малахай. Затылком кинут в грязь!
Мамону лобызает голь. Царицу лижет мразь.

Все, что награблено, – на снег из трещины в стене
Посыплется: стада мехов, брильянтов кость в огне,

И, Боже, – девочки!.. живьем!.. распялив ног клешни
И стрекозиных ручек блеск!.. – их, Боже, сохрани!.. —

Но поздно! Лица – в кровь – об лед!.. Летят ступни,
власы!..

Добычу живу не щадят. Не кинут на весы.

И, будь ты царь или кавсяк, зола иль маргарит —

Ты грабил?!.. – грабили тебя?!.. – пусть все в дыму
горит.

Кабаньи хари богачей. Опорки бедняка.

И будешь ты обарку жрать заместо каймака.

И будет из воды горох, дрожа, ловить черпак, —

А Вавилон трещит по швам!.. Так радуйся, бедняк!..

Ты в нем по свалкам век шнырял. В авоськах – кости нес.

Под землю ты его нырял, слеп от огней и слез.

Платил ты судоргой телес за ржавой пищи шмат.

Язык молитвою небес пек Вавилонский мат.

Билет на зрелища – в зубах тащил и целовал.

На рынках Вавилонских ты соль, мыло продавал.

Наг золота не копит, так!.. Над бедностью твоей

Глумился подпитой дурак, в шелку, в венце, халдей.
Так радуйся! Ты гибнешь с ним. Жжет пороссячий визг.
Упал он головою в кадь – видать, напился вдрызг.

И в медных шлемах тьма солдат валит, как снег былой,
И ночь их шьет рогожною, трехгранною иглой.
Сшивает шлема блеск – и мрак. Шьет серебро – и мглу.
Стряхни последний хмель, червяк.

Застынь, как нож, в углу.

Мир в потроха вглотал тебя, пожрал, Ионин Кит.

А нынче гибнет Вавилон, вся Иордань горит.

Та прорубь на широком льду.

Вода черным-черна.

Черней сожженных площадей.

Черней того вина,

Что ты дешевкой – заливал – в луженой глотки жар.

Глянь, парень, – Вавилон горит: от калиты до нар.

Горят дворец и каземат и царский иакинф.

Портянки, сапоги солдат. Бутыли красных вин.

А водка снега льет и льет, хоть глотки подставляй,

Марой, соблазном, пьяным сном, льет в чашу, через край,

На шлемы медной солдатни, на синь колючих щек,

На ледовицу под пятой, на весь в крови Восток,

На звезд и фонарей виссон, на нищих у чепка, —

Пророк, я вижу этот сон!.. навзряч!.. на дне зрачка!.. —

Ах, водка снежья, все залей, всех в гибель опьяни —

На тризне свергнутых царей, чьи во дерьме ступни,

Чьи руки пыткой сожжены, чьи губы как луфарь

Печеный, а скула что хлеб, – кусай, Небесный Царь!

Ешь!.. Насыщайся!.. Водка, брызнь!.. С нездешней
высоты

Струей сорвись!.. Залей свинцом разинутые рты!

Бей, водка, в сталь, железо, медь!.. Бей в заберег!..
в бетон!..

Последний раз напьется всмерть голодный Вавилон.

Попойка обескудрит нас. Пирушка ослепит.

Без языка, без рук, без глаз – лей, ливень!.. – пьяный спит

Лицом в оглодьях, чешуе, осколках кабака, —

А Колесницу в небе зрит, что режет облака!

Что крестит стогны колесом!..

В ней – Ангелы стоят

И водку жгучим снегом льют в мир, проклят и проклят,

Льют из бутылей, из чанов, бараньих бурдюков, —

Пируй, народ, еще ты жив!.. Лей, зелье, меж зубов!..

Меж пальцев лей,

бей спиртом в грудь,

бей под ребро копьем, —

Мы доползем, мы... как-нибудь... еще чуть...

поживем...

.....

Largo. Pianissimo

Ты упал лицом, мой милый,

В ковш тяжелых рук.

В грязь стола,
как в чернь могилы,
Да щекою – в лук.

Пахнет ржавая селедка
Пищею царей.
Для тебя ловили кротко
Сети рыбарей.

Что за бред ты напроорочил?..
На весь мир – орал?!..
Будто сумасшедший кочет,
В крике – умирал?!..

Поцелую и поглажу
Череп лысый – медь.
Все равно с тобой не слажу,
Ты, старуха Смерть.

Все равно тебя не сдюжу,
Девка ты Любовь.
Водки ргутной злую стужу
Ставлю меж гробов.

Все сказал пророк Исая,
Пьяненький старик.
Омочу ему слезами
Я затылок, лик.

Мы пьяны с тобою оба...
Яблоками – лбы...
Буду я тебе до гроба,
Будто дрожь губы...

Будут вместе нас на фреске,
Милый, узнавать:
Ты – с волосьями, как лески,
Нищих плошек рать, —

И, губами чуть касаясь
Шрама на виске, —
Я, от счастья косяя,
Водка в кулаке.

Милостыня

Подайте, милые, на шкалик
Господней грешнице, рабе!
В мешке с дырой, в рыбацкой шали,
с алмазным потом на губе!
Сижу на рынке я в сугробе.
Устану – лягу в жесткий снег.
Как будто я лежу во гробе,
и светят полукружья век.
И вновь стручком в морозе скрючусь,
и птичьи лапки подожду.
Свою благословляю участь.
В собачьих метинах суму.
Пошто сошла с ума? Не знаю.
Так счастливо. Так горячо.
И тычет мне людская стая
то грош, то черный кус в плечо.
А нынче помидор подмерзлый
мне светлый Ангел тихо дал:
ешь, детка, мир голодный, грозный,
но в нем никто не умирал.
И я заплакала от счастья,
и красную слизала кровь
с ладони тощей и дрожащей,
с посмертной белизны снегов.

Волковы бани

Ветки черны. Святый Боже.
Переулоч, будто морда
Волка. Мы с тобой похожи:
узкий череп, рыба хорда.

Шерсть вся вздыбилась на холке —
пряди слипшиеся снега...
Баня зимняя!.. — для волка.
Будешь чище человека.

В душной, яростной парилке,
черной мордой — в шайке бычьей —
мокрый хвост... — и бьется жилкой
жизнь: людская, зверья, птичья,

Барабанная, лопатья,
лом, кирка, метла, скребница...
Шкуры сброшенное платье.
Ребер бешеные спицы.

Ни наесться. Ни напиться.
Тусклый свет. Предбанник гулкий.
В бане моется волчица —
в Криволапом переулочке.

Завтра когти вспять оттянут!
В печень – нож! В загривок – пулю!

...Мойся. Чистыми восстанут,
кто в грязи – в грехе – уснули.

Блаженная и пьяный пророк

– Вся я – терние!..
Вся я – вервие!..
Бусы зимние,
Убусы смертные...

Рыба хариус —
Тело нежное...
Жамкнут – харями —
Душу грешную!..

– Чавкай варево,
Гавкай вражину, —
Смерть повалится —
Снег в овражину...

Над хламидою
Да над хлебовом
Вспыхнет митрою
Место Лобное!..

– Батька, батюшка,
Весь ты пьяненький...
Руки – баржами...
Бездыханненький...

Длани – язвами...
Пальцы – крючьями...
По мне лазают —
Нитка ссучена!..

– Ах ты, дурочка,
Глаза фосфорны.
Ах ты, дудочка,
Свист под космами.

Шелопутная,
Подвагонная, —
А глаза твои —
Халцедонные...

Ты зачем ко мне,
Дура, цеписься?!..
В лысый лбище мой
Губой целишься?!..

Ты сигай в костер!
Со мной не балуй!
Ты в мороз – топор
Лучше поцалуй!..

Я – исчадие.
Я – несчастье.
Страстотерпие.
Звездовластие.

Я всему чужой.
Мой отмерен срок.
На земле большой
Я один – Пророк.

– Бормочи тишей...
Все вертается...
Твой язык взашей
Заплетается...

Не реви... не лей
Слезы – водкою...
Я одна тебе
Лягу – лодкою...

Отдохни... ложись —
На меня... в меня...
Бедный, что за жись —
Корма нет в коня...

Обхвати... ломай...
Да грызи, кусай!..
Ешь, похваливай,
Наземь не бросай...

Запах мой вдохни...
Рот куском утри...
Мы в тобой одни —

Только не умри!..

Оком мир пожри!..

Съешь меня до крох!.. —

Только не умри:

Мой последний вздох...

Под забором – сдох?!.. —

Под ключицей – крест?!.. —

Мой последний Бог

В ожерелье звезд.

– Тебя хватъ, халда,

Как в кулак свечу!..

Ты одна – беда!.. —

Миру по плечу.

Мир палил-палил!

Мир пылал-пылал!

Мир стрелял-стрелял —

Он стрелять устал.

А юродский дух,

А родная грязь —

Наш пирог на двух,

Что жуем, смеясь,

Меж дрезинами,

Вагонетками,

Меж разинями,
Малолетками,

Средь сивеющих,
Гласом сипнущих,
Средь живеющих,
Среди гибнущих, —

И – смерч нефтяной
Всех духов среди!.. —
Наш пирог больной,
Вензель на груди,

Вензель сахарный,
Со смородиной:
«ТЫ ЮРОДИВАЯ.
Я ЮРОДИВЫЙ».

«По Радищевской улице...»

По Радищевской улице

Колобком я качу.

Ночь.

– ...тресветлая, умница!.. —

Я Луне бормочу.

Я – бескрылою Никою —

По вьюге – к кабаку.

Я корзину с клубникою

Ко Кресту волоку.

Девочка в кабаке на фоне восточного ковра

Закоченела, – здесь тепло... Продрогла до костей...
Вино да мирро утекло. Сивухой жди гостей!
Ты белой, гиблой ртутью жги раззявленные рты.
Спеши в кабак, друзья, враги, да пой – до хрипоты!
С невымытых блюд – глаза грибов. Бутылей мерзлых полк.
Закончился твой век, любовь, порвался алый шелк.
В мухортом, жалком пальтеце, подобная ножу,
С чужой ухмылкой на лице я среди людей сижусь.
Все пальтецо – в прошивах ран. Расстреляно в упор.
Его мне мальчик Иоанн дал: не швырнул в костер.
Заколку Петр мне подарил. А сапоги – Андрей.
Я – среди клыков, рогов и рыл. Я – с краю, у дверей.
Не помешаю. Свой кусок я с блюдечка слижу.
Шрам – череп пересек, висок, а я – жива сижусь.
Кто на подносе зелье прет да семужку-икру!.. —
А мне и хлеб рот обдерет: с ним в кулаке – помру.
Налей лишь стопочку в Раю!.. Ведь все мои – в Аду...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.